

ГЛЕБ ГОРЬШИН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## ЧЕРЕМУХОВЫЙ РАЙ

## ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА

Берег Финского залива. Белесо. Парное молоко. В воздухе парно, на заливе бело-зелено. Недужно. И на сердце моем недуг: рубчик на сердечной мышце после инфаркта. До трех бывает рубцов, а после истончается мышца – аневризма, и все, капут.

Время трясогузок, время зябликов. Весна припоздала. По шоссе проехал финский автобус...

За обедом в Доме творчества писателей поэт Михаил Логинович Сазонов сказал:

– Я спать стал в последнее время. А то все не спал, думал о Марате, о Робеспьере, о Жанне д'Арк. Нас учили в тридцатые годы, что нам до всего дело. Вот я и думал о Марате, не спал.

Официантка принесла котлеты. Михаил Логинович ей сказал:

– Вы знаете, я пишу роман. А мне уже семьдесят четыре года, кое-что стал забывать. И у меня в романе любовная сцена: свидание возлюбленных. А я уж позабыл, как это бывает. Вы зайдите ко мне, пожалуйста, постараемся вспомнить. Да, придите, в романе у меня даже не сцена, а целая глава.

Официантка сделала глазки:

– Ну что же, придется помочь писателю.

– Вот спасибо!

На другой день другая официантка принесла бризоль по-одесски. Михаил Логинович съел бризоль, сказал официантке:

– А теперь вы нам с Глебушкой принесите по стакану коньяку.

Официантка оскорбилась:

– Я коньяк не ношу. Это вы меня коньяком угостите.

– Не поняла шутку, – огорчился Михаил Логинович. – Культурешки не хватает. – Он что-то приятное вспомнил, посветлел лицом: – А мы, бывало, денатурат пили. Дешевый, восемь копеек литр. С косточками на этикетке. За Смоленское кладбище уйдем, сядем на травку... Мы его сквозь марлю процеживали и – стаканами. Милое дело. Я тогда здоровый был – слесарюга. А дружок у меня молодой, да и я молодой, ну тот еще не окрепший, он выпил и носом сунулся в Смоленку. Я его хватя за шкурку и вытянул. А то бы утонул.

Лед на заливе в промоинах. Тихо. Из дали льда доносятся клики чаек, как голоса стихий.

Вчера дошел по берегу до страны моего детства, до наваленных зачем-то финнами в море каменных гряд, до полурухнувших бетонных стен, до сосен, привставших на щипочки, на кончики кореньев; почва из-под них выветрилась, но сосны живут... Я припомнил эту местность и мальчика – меня самого, белобрысого, мягковолосого, долговязого, жадного до жизни. Так хотелось встретить мальчишку, у него были ясные глаза и в них жажда, жажда жизни. Что осталось во мне от того мальчишки? Да, жажда жизни есть, а жизни в обрез.

Один-единственный рыбак на льду посреди промоин. Неробкий, небоязливый рыбак, тихо, вразвалочку идет по морю. Хотя и белесое, но уже море; вода берет верх над ледяной твердью. Идет себе рыбачок, не утонувший, сняв шапку. Теплый, парной день у моря. Что может быть лучше?

Рыбак ступил на берег, ему хотелось быть замеченным: таких немного – двадцатого апреля ходить по Финскому заливу.

Во льду прорезались русла ручьев. Вылупились на свет Божий камни, как яйца динозавров. Где они были-то? Неужто их скрывал такой толщины лед? Посвистывают дрозды, поскрипывают зяблики. Вчера видел, как пела на

ели сойка, не кричала по-соичьи, а пела, подрагивало ее горлышко, как у горлинки.

По вечерам дрозды дают концерты – красиво, печально, слаженно; поют разноголосо, но одним ансамблем.

Еще один вечер жизни, еще одна весна. Очень много льда на заливе: морозу было много зимой, наморозило.

Идет своим чередом собачья жизнь – при Доме творчества писателей. Малость одичал, озлобился добрый Шарик. Был у него хозяин, бил Шарика, пил и умер. Шарик иногда бегаёт к дому своего бывшего хозяина, но теперь у него хозяйка – уборщица Тоня. К Шарик у прилепился Тобик, он же Бублик и Чернушка. Подпеска привели и бросили. В щенячестве он жил в доме у людей, привык спать на диване. Теперь у него один Шарик – и поиграть, и погреться, получить необходимое для жизни тепло. У Шарика и Тобика одна мама – Тоня.

Шарик и Тобик – хорошие ребята, но они опасны для кошки Дымки. Дымку принесли в коробке вместе с котятками и подбросили. Дымку тоже удочерила Тоня. Она прогуливает Дымку, охраняет от Шарика с Тобиком. И всех кормит. «Писатели едят котлеты, а они не едят», – с удовлетворением сообщает Тоня о своих питомцах.

У Тони был муж Саша, с перебитыми на войне ногами. Недавно он умер от рака желудка. Когда здоровый был, напивался, кричал, махал руками. Потом притих и умер.

Залив дышит холодом, ледяной стужей. Тучи на небе. Половина седьмого вечера. В мареве, в крошеве вдруг зачернели, задвигались рыбаки. Слышно, как шурхают по льду сапогами. Рыбаки идут галсами, выбирают твердь. У берега, кажется, неперебродные разводья. Дует свежак, но с другой стороны, чем в минувшие дни, с юга, юго-востока.

Пустынно на пляже и некуда спешить. По-прежнему надо зарабатывать на жизнь, но уже ничего никому не надо доказывать. Чайки, вороны на льду, на песке.

Рыбаки перебрывают разводья по колено в воде, скользят. И там на льду с рыбаками собака. На заливе сизым-сизо.

Доклад ревизионной комиссии на XXVII съезде КПСС делает ее председатель Сизов. Я знать его не знаю, фамилия всплыла в памяти по ассоциации с сизостью в натуре – Сизов.

Есть ледоход, ледостав, ледокол. Сейчас – что? Ледосход. Ледовал. Медленное истаяние льда. Ночами, в утренки, льду намораживает, лед крепнет, стекленеет; умолкают ручьи.

Утром видел уходящих в белое безмолвие рыбаков. Мужики ушли в залив гуртом, не рискуя поодиночке. Следом за ними пошли два отрока, щупали лед, страшновато им было. И мне страшновато за них.

Когда утром вышел на волю, ко мне прибежал мой приятель Шарик... Дорого доброе отношение человека, даже добрый взгляд, но дорожке собачья ласка. У Шарика доброе лицо, свесившиеся треугольные лоскуты ушей, беззлые, понимающие глаза, выдавшие лихо, натопорщенные редкие белые усы на черном носу...

Вчера я видел Шарика в работе. Шарик не жилав задарма, служил, отработывал свой прокорм и уют. К Шарикову дому (Дому творчества писателей) прибилась блудная, ничья, опаскудевшая собака, серая, грязная. Я видел Шарика несущимся за этой собакой, молча, с неотвратимостью самонаводящейся ракеты. Рыжий, лохматый, пегий Шарик несся, не чужая под собою ног, на второй космической скорости. Он догонял нарушителя границы, оберегал вверенные ему владения. Нарушителя наглежало покарать, не щадя собственного живота. Шарик выгнал серую собаку – своего лютого врага – на шоссе, под идущие машины, сам кинулся за нею... За шоссе начиналась чужая территория, со множеством всевозможных собак. Шарик резко притормозил, развернулся и потрусил домой, с выражением исполненного долга. Шарик понимал, что живет не зря.

Внизу под песчаным пригорком в лесную ~~моховину~~ сети две серые утки: селезень с утицей. Они задумали основать тут свое гнездовье, не зная, что скоро сюда прихлынут люди, дети, собаки, ~~жвушки и юноши~~ – утятам не станет места. Дикие утки, завидев меня, не ~~сидели~~ с устатку, крыльями

намахались или же это криквы новой генерации, привыкли ошиваться рядом с человеком, кормиться из его рук?

Четыре часа пополудни. Блескучий лед на заливе. Смех граждан на пляже. Дымки костров. Сады выголившихся камней. Не сады, а стада, отары. Где-то вдали у горизонта рыбаки. Крики чаек, как зовы раненых на поле боя. «И мертвые кричат на поле боя» — вспомнилась строка стихов Семена Ботвинника.

Исполосованное пространство: белая полоса, сизая полоса, туманно-темно-синяя полоса.

Прошел еще день, залив стал рябым, чересполосным, много в нем набухло черноты.

Видел в ольшанике, в мелкой, временной, весенней воде селезня в зеленой бархатной шапочке.

Думал о дроздах: по вечерам они поют в дачной местности те же песни, что и в глухих еловых лесах, на опушках, по окраинам болот, на кладбищах.

Ни души на всем берегу. Полдень. Я сегодня не работаю. Гуляю.

2 мая. Море разрушило лед, сделалось сине-черным. Остались у берега торосистые островки льда. Юго-восточный ветер гонит на море рябь, ледышки похрустывают. Наступило время воды.

Вчера, первого мая, поливал дождь. Под дождем как-то особенно свистели скворцы и дрозды. Сегодня небо наполнилось кликами чаек.

Через неделю в «открытом море» ни единой ледышки. На урезе воды грязная ледовая свалка — последки зимы. В природе соблюдаются сроки, как в плановом хозяйстве: исполнение некоторых планов запаздывает, но затем непременно подгоняется, успевает к сроку. Так и на заливе: казалось, со всей своей массой накопленного за зиму льда не расхлебаться, ан, глядь, как не бывало.

Солнце справа от меня, близко к западу. Плавится, под солнцем сияет тусклая вода в лагуне. Великое множество разновеликих камней.

Сегодня утром на одном из камней сидела, то есть стояла на тоненьких, сломанных в коленках ножках чайка, вокруг нее танцевал чайчий кавалер, хлопал крыльями, беспрестанно клекотал.

Днем протянула над морем стайка куликов, с музыкальными, благозвучными, горловыми перезвонами.

В восемь часов вечера ровно, низко над лесом прошел караван гусей, изреженный — в дальней дороге повыбивали или пустился в путь в некомплекте. Гуси переговаривались на лету звучными скорбными голосами. Обыкновенно пишут: «Летели с тележным скрипом». И я так писывал. Но в этот раз никакого тележного скрипа — стремительный лет совершенных божьих тварей, с протянутыми вперед длинными шеями, темными клювами, светло-серыми подкрыльями, короткими черными хвостами-рулями. Удивительно внятно доносился звук работающих крыл: в каждом махе — натруженность.

Поздно вечером гулял по дорожкам, увидел ежа. Еж, увидев меня, натпорщил иглы, принял позу кошки, вороха листьев и замер. И ни гугу. Наверное, еж думал, что он меня обманул.

Сегодня я жег костры. Стребал листья и жег. Думал об очистительном свойстве огня. Огонь пожирающий, огонь очищающий. Очищают огонь и вода.

Отлучился на две недели, уехал в северном направлении. Там, в смысле весны, еще и конь не валялся. Конь валяется по первой зеленой травке. За отлучку мало что изменилось на берегу. Выросла на песке сухая, острая осока. Чуть шебаршит в берег вода. Вдали болтаются рыбацьи «резинки». На горизонте уютжит лоно вод сейнер, что-то ловит.

Вчера был на приеме у психотерапевта, доктора с лицом следователя (хотя откуда я знаю, какие лица у следователей?). Все же психотерапия в чем-то схожа с дознанием. Доктор спросил у меня:

— Страх есть?

— Страх нет, — отвечал я. — Бывает тоска.

Там и тут погуливают-полетывают селезни, как военные курсанты, отпущенные в увольнительную. Утицы сели на яйца, селезни-холостяки все не уймутся.

Держатся холода. Пасмурно. Крапает дождь. Жмет сердце. Что значит —

жмет? Не знаю, как ответить, как сказать словами. Это надо почувствовать собственным сердцем.

Страх нет, а тоска бывает.

Психотерапевт прописал мне седуксен, по полтаблетки два раза в день и таблетку на ночь. Что-то седуксен притормаживает, что-то снимает. Но я не хочу притормаживать, не хочу снимать. Мою тоску люблю так же, как и мое одиночество. Не вмешивайтесь в меня вашей психотерапией!

Проглянуло солнце. Когда-то в молодости (литературной) я написал, что теплый дождь при солнце походит на парное молоко, когда его процеживают сквозь ситечко. В детстве я жил в сельской местности; корову доила моя бабушка, я видел вблизи дойку, процеживание парного молока, пил молоко с пенкой.

Солнце выныривает из туч. Бродят дожди, почки все не могут стать листьями. У дороги цветет пролеска – подснежники. Подснежниковый рай приземленный, приуроченный к лесу. За ним явится черемуховый рай – всеобщий, повсеместный.

При слове «рай» вспомнил, что жену Горбачева зовут Раисой, Раей. Опять же ассоциация. От звука.

Цветет пролеска... А где-то на Камчатке живет моя краткосрочная дальневосточная подруга (двадцать лет тому назад) Пролесковская. Иногда она мне пишет: «Приезжайте, я вас жду». Как все же многое в мире связано... фонетически. Интересно бы исследовать. Но для этого надо просить пролонгацию, то есть продление жизненного срока. У кого просить-то?

Все еще облачно, студено, но солнышко подает надежду. На солнышко надеяться, и сам не плошай. Сегодня я не плошал, сидел, почитывал Юрия Казакова, радовался ему и вдруг нашел в себе решимость написать о Казакове что-либо, эссе. Мой друг Юра Казаков (нерегулярный в дружбе), может быть, лучший писатель этой четверти века или половины.

Болят сердце, но страха нет, седуксена не принимаю.

В природе за сутки позеленело, зеленой стала трава; с какой-то одной на всех решимостью, как солдаты из окопа по команде, повылазили из почвы натопорщенные хвощи-ежики. Хвощата.

Пролеска цветет белыми колониями, как снежные наметы. У подснежников поникли лепестки: на таком солнце долго не поцветешь. Солнце извело снег, из-под снега вышли белые цветы подснежников. И им та же участь.

Сижу на пляже, пляж подметен, расставлены скамьи, покрашены зонты. Скоро явятся нагие (полуобнаженные) девы. Скамьи выстроены в ряды, фронтом к морю, как будто на сцене моря-будет разыграно представление, какая-нибудь пьеса самого популярного драматурга нашего времени Гельмана. Первый ряд партера – для актива.

Скучновато на этом свете, господа, но страху нет, жить можно.

Море куда-то ушло. Отлив, что ли? Приходит мысль о японцах: ежели бы японцам море отдало так много площади своего дна – под сушу, японцы бы засуетились на этом жизненном пространстве, как муравьи.

И такие сады камней открылись бы там, где было наше море! Вдруг совсем ушло? С морем не надо шутить, играть, не надо его перегораживать дамбой.

Наступило время трав, листьев, цветов. Зацвела черемуха. Так хотелось попасть в черемуховый рай... В городе черемуха цветет скрытно, с опаской, торопливо; ее обламывают, занюхивают, ее запах смешивается с городской вонью и кажется парфюмерным запахом.

Хотелось попасть в черемуховый рай где-нибудь в России: на Ловати, на Кунье, на Тудере. Но я в Комарове. Сперва зацвела черемуха в нагорной части; внизу у моря цветов еще нет. И рая нет. Или грехи мои не пускают в рай-то войти?

Зацветают ландыши. Полным-полно ландышевых листьев на угоре, распустились белые колокольцы.

Сегодня Троица. То есть сегодня родительская суббота, Троица завтра. На могиле у мамы тоже зацвели ландыши.

Пролеска угасает, меркнет, опадают лепестки. У воды зажелтели купальницы. Проснулись фиолетовые фиалки. Время цветов.

Вечер. По всему берегу скрипят насосы-лягушки. Ну, рыбы, погодите!

Солнце село в тучу. Холодно, серо, чуть розовато. А было жарко, и я уж думал поправить мое здоровье с помощью солнца. Но здоровье осталось худым. Солнце село в тучу.

Пошел дождь, ни к селу ни к городу. Он хорош для посевов, но не хорош для пионеров, вывезенных в лагерь.

Время черемух. Время ландышей. У черемух каждый куст зацветает в свой день (или в ночь). Почему верхние, нагорные черемухи в Комарове зацветают раньше нижних, приморских? К солнцу ближе, что ли?

Цветение черемух — таинственное, священное действие. Черемуховый рай! Черемух в России много, как снегу, хватает на всех. Каждый может выбрать свой собственный черемуховый рай. Раз, помню, справлял праздник черемухи в деревне Осиновка, при слиянии рек Кунья и Тудер, с высокими берегами, чистыми водами, при безлюдье, в самом сердце России. Помню, я обомлел.

В Комарове тоже черемуховый рай. Правда, здешние черемухи уклончивые, на втором плане. На первом плане барабанный бой пионерских лагерей, громко говорящие динамики, воюющие электрички, прогуливающаяся интеллигентная публика.

Но время черемух и здесь ритуально, это время свадеб: черемухи — невесты в кружевных фатах. И время тревог: черемухи опадут, облетят — и станет солоно на губах.

Черемуховый цвет наводит на мысль о снеге. Сам собою пришел заголовок: «Возвращение снега». К чему заголовок? А ни к чему. Заголовок ко времени черемух. Был снег и растаял. Природа лишилась белизны, для чего-то ей нужной. Все стало бурым, черным, серым, позеленело. Одни березы сохранили струйки белизны, как струйки дыма. И плавали в небе белые облака...

Вдурн на кочки в лесу, на лужайки, в зелень травы упали снежинки и не растаяли, хотя солнце пекло. Проснулись, раскрылись белые лепестки. Настало время пролески, подснежников, будто грянул летний морозец, заискрился иней. Землю посыпало белым снежком.

Подснежники по ночам засыпали, роняли головки, а по утрам улыбались. И так их много родилось, как будто пала пороша. Весело стало в лесу от пролески, от майского снега.

Солнце грело все жарче, нарастало травы и листьев, пришло время подснежникам уронить лепестки и растаять. Лето забыло о снеге...

И тут грянула снежная буря. Никто не услышал ее. Вчера гибкие зеленые ветви черемух огрузили хлопьями снега. Черемухи зацвели, стало холодно и боязно за них: каково им нести белый снег на ветвях в летнюю пору?

Снег лежал на черемухах. Пахло морозом. Снег падал. Пели иволги и дрозды...

На песчаных буграх, в сосновых борах, в оврагах, на полянах из почвы прыгнули наружу туго скрученные зеленые перья, разворачивались в крепкие, жилистые, продолговатые листья. Нарождались гирлянды белых колокольцев. Плыло по воздуху нежное дыхание зацветших ландышей. Слышался тонкий звон.

В красное лето белая снежность повешала о себе перезвоном колокольцев: ландыши зацвели!

Так и дальше пойдет: оденутся снегом, обольются молоком яблоки, вишни, окутаются золотистой белизной рябины, набрякнут белые булавы на каштанах, заколышутся белые лилии в заводях, на болотах забелеет пушица, загудят пчелы в белом липовом цветку... А там закружат тополиные метели, полетит белый пух с Иван-чая...

Не успеешь оглянуться, и выпадет первый снег. Чего у нас ждать недолго, так это зимы, возвращения снега.

7 мая. Комарове. Все еще цветет черемуха, веет стужей. От черемухи холодá или черемуха держится в цветку по холодку, как снежный наст в мороз-утренник? Деревá черемух в благоуханной чистоте, белизне, как купола невиданных храмов. Хочется стать, помолиться Богине Черемухе. Черемуха возносит, завораживает.

От черемухового воздуха сжимается сердце в тоске по недостижимому, в благодарении явленному, в счастье присутствия на празднике, в печали короткости праздника.

Черемуха в Комарове в полном цвету. Черемуховый рай.

С ландышами неясно. Ландыши явились в самых неожиданных местах, на обочинах шоссе, на виду у прохожих. Им и зацвести не дадут, оберут подчистую...

Утром шел с моря, взглянул на бугор с ландышами. На ландышевой делянке трудился мужик в белой курточке, с испуганным личиком.

Я шел мимо него, он перестал рвать ландыши, опасался, знал, что его промысел наказуем. Я не нашел в себе ярости наказать вора, хотя он воровал мои ландыши. Мне только сделалось скучно. Я поднялся на бугор. Мужик держал в руках сноп еще не распутившихся ландышей.

– Что, все сорвал?

– Да нет, не все, – обрадовался мужик, понял, что бить не будут.

– На продажу рвешь?

– Да нет... – Мужик замылся. – Они в Красную книгу занесены... – Он сообщил мне это с каким-то торжеством многознания. – А это – чистотел, – суетился мужик. – Лекарственное, ото всего лечит, от желудка... Бородавку соком намажь – сойдет...

С ландышами неясно, то ли были они, то ли нет.

Ландыши продают сейчас в Варшаве, в Праге, в Таллинне... У нас они только в Красной книге. Кто ее читает?

Да, а что же наш Шарик? Утром выхожу на волю, Шарик слышит мои шаги, или до него доносится мой запах, или еще что... Пес прибегает, ласково виляет своим туловом, издает звук, выражающий крайнее удовольствие, как бы хихаает, пыщкает. И бежит вперед меня. На перекрестке останавливается, оглядывается. У него добрые, просиющие глаза. «Ну, пошли», – зовет меня Шарик. Он знает, что его могут обмануть, много обманывали. Я иду. Шарик рыскает челноком, обнюхивает кусты, столбы, кочки, камни, где надо, оставляет свою метку. Если я его позову, он посмотрит, но не остановится. Пробегают шоссе, проносятся по пляжу, влетает в воду и тут притормаживает. Пьет, отряхивается. Оглядывает горизонт, видит перед собою плещи отмелей, груды камней, ворон, чаек. Бежит по мелкой воде, на отмели переходит в галоп, распугивает всех чаек, всех ворон, облаивает их несердитым звонким лаем.

Сделав это, прибегает ко мне, спрашивает взглядом: «Так ли я сделал?» Я говорю:

– Так! Молодец, рыжий пес!

Он опять принимается бегать, и я немножко бегу, машу руками.

В какой-то момент Шарик решает, что можно дать волю чувствам, прыгает возле меня, щелкает зубами, порывается меня поцеловать. Я запускаю пальцы в его лохматую гриву, целую его в холодный мокрый нос. У Шарика счастливое лицо. Но долго Шарик лизаться не будет, ему еще охота побегать.

Я иду через шоссе по дороге к дому. Шарик набирает скорость, летит, как рыжий лис. Морда его выгнута вперед, уши прижаты. Он тычется мне носом в колени и убегает. Залазит под заборы, в детском саду загоняет кошку на нижний сук сосны, облаивает без злобы, недолго. И вот мы дома. Шарик пыщкает, прижимается к моим коленям, благодарит за прогулку.

Я ему говорю:

– Ты подожди, я схожу и принесу тебе колбасы.

Он идет за мною, внимательно слушает, смотрит. Ложится у крыльца. Я приношу ему колбасы, отламываю кусочек. Он ест без жадности. Другой кусок берет в зубы, куда-то уносит, прячет.

Днем Шарика сажают на цепь, он скучает, но не выказывает обиды, нетерпения, тихо лежит в потемках будки. Одного его Тоня не пускает: могут прихватить забойщики блудных собак. Все же он пес недомашний, уличный, ничей. Шарик и сам без провожатого за ограду носа не кажет, знает. Он живет на белом свете, даже и благоденствует – любовью к нему уборщицы Тони.

У Тони больные ноги, повышенное давление. И у нее умер муж Саша. Тоня сказала:

– Он меня мучил. Конечно, как человека жалко, а как мужа ну вот ни-сколечки. Я бы ушла, мне трудно работать, а Шарика жалко. Его никто не кормит. Я ему кость покупаю, он кости **любит**. **Вообще** он мало ест. Котлеты не ест. Писатели едят, а он не будет. **И супу не ест.**

12 июня. 6 часов вечера. Весь залив наполнен болтающимися рыбацкими «резинками».

Был Духов день, через три дня после Троицы. В Духов день студено, значит, еще сорок дней простоят холода. Так и идет. Шепелявит вода у берега. Покрикивают, но больше помалкивают чайки.

Шарик увидел сучку. О! Это его взволновало до крайности. Сучка стояла недвижно, отворотив голову, словно не замечала кавалера. Шарик вначале включил форсаж, сделал рывок на сверхскорости и тут же притормозил всеми четырьмя, сделал стойку, как делают ее специально для того выведенные сеттеры и пойнтеры. У Шарика классическая стойка: не дрогнули ни один мускул (мускулы у рыжего пса под шубой, если бы и дрогнули, не углядишь). Постояв мгновенье, рыжий начал подход. Как бережно, как беззвучно, как сдержанно и страстно подходил он к своему предмету! Дошел до него, понюхал то место, откуда пахнет... Сучка все так и стояла отворотясь. Шарик оказал ей несколько любезностей, но как-то мимоходом – и потрусил в сторону. Акт собачьего театра закончился.

В Шарике много, много от зверовой лайки. Так ему повадно порыскать в лесу, в поиске, нанохаться, как наркоману, измазаться в мочежинах, грязях. Выскочит и ну валяться в песке, отряхаться...

Дни стоят с дождями, со свинским холодом, со слабыми наплывами тепла.

Утром видел черную морянку, сидела на песке у берега. Утка сидела так, как будто подбита или переутомилась. Я подошел к ней близко; она крупнее кряквы, смутного черно-серого цвета (может быть, гагара?), со светлой попкой. С усилием взлетела.

Зацвела по низинам таволга – опять вернулся снег.

В полном цвете рябина. Рябиновый снежок – мартовский, подрумяненный.

Водит хороводы звездчатка лесная, с реденькими продолговатыми лепестками, с тонким стеблем. Желто-оранжевые, как шмели, цветы одуванчика превратились в белый пушок.

В зелени трав, мхов лежат чеканные, шестиконечные снежинки белодура болотного.

Еще не отцвели ландыши: на прямых стеблях колокольцы, как гроздь белых ягод.

Каждое утро иду любоваться ландышами. И со мною Шарик, тоже любит нюхать цветы.

Над Шариковой лохматой башкой сгущаются тучи. Гневается на Тоню директор Дома творчества писателей, багровеет, наливаются дурной кровью, топает слоновьими ногами, колыхает пузо. Шарик на кого-то кинулся, штанину порвал. Кто-то не понравился Шарик, с палкой ходил. Ходящих с палками Шарик не принимает на нюх. Директор Дома отдал распоряжение: «Шарика – усыпить!» Кто-то из персонала ему подсказал: «На живодерню...»

Тоня держит Шарика на цепи, охраняет. Целые дни Шарик пролеживает в будке вялый, грустный. Дама-собачница (искусствовед) собирала в Доме творчества подписи писателей в защиту Шарика.

Как-то вечером мы пошли с ним гулять. На пляже я сел на лавку. Шарик лег у моих ног, тяжело вздыхал, совсем не бегал.

С Шариком дело плохо.

Тоня привязала его к сосне под своим окном.

30 июня. Сегодня с утра было восемь градусов, как сказал мужик у газетного киоска: «Восемь градусов жары». К вечеру разъяснило. В заливе на каждом камне сидело по чайке. Прилетели большие чернокрылые чайки, может быть альбатросы. Солнечные лучи ниспадали из облаков, как спицы в колесе небесной колесницы.

Зацвел шиповник. Еще не совсем опали цветы ландышей, но не пахнут.

Когда мы с Шариком приходим вечером с прогулки, он дает мне свою густошерстную шею – привязать. Скоро нам расставаться.

Мы с Тоней решили свезти Шарика в Зеленогорск в ветлечебницу – зарегистрировать, сделать прививку.

Шарика взяли на поводок, под морду ему привязали намордник. Тоня надела плащ-болоньку. На платформе Шарик почуял недоброе, лег. Электричка привела его в содрогание. В вагон пса втянули силком. Электричка

зализгала, пес лежал на железном полу, подергивался. В Зеленогорске сам добежал до нужного места.

Тоня жаловалась врачихе:

– Он посторонних не любит, кидается.

Врачиха возражала:

– Ну а как же? На то он и собака.

Тоне хотелось разжалобить врачиху:

– Он грустный. Глаза у него грустные.

Врачиха посмотрела в глаза Шарик.

– Глаза у него веселые. Здоровая собака.

Мы посадили Шарика на процедурный столик. Ему закатали укольчик. Он и не заметил.

На станции Шарик уперся: опять в электричку? Ну, ни в какую. Пришлось взять его на руки. Он вытянул прямые лапы, не рыпался.

Вернулся домой с правами гражданства (жетоном), привитой. Приказ директора усыпить Шарика отсрочился, но не отменился.

Сегодня Шарик в первый раз сбежал от меня на прогулке. Хотя выражал мне любовь, когда я его отвязывал.

Чаичий вечер: чайки стоят на камнях, по чайке на камне. Залив зацвел. Очень тихо. Плавает утка-хохлатка с двумя утятами, уцелевшими от выводка.

Держатся холода, как начались в Духов день... Тринадцатого июля должно потеплеть, вернется лето.

Шарик усомнился во мне: я его уволок в то страшное место, где лязгает, скрежещет, – вот он и убежал.

Через какое-то время прошелестела весть о кончине Михаила Логиновича Сазонова. Земля да будет пухом тебе, пролетарский поэт!

Когда разрушится наша держава, закроется и Дом творчества писателей в Комарове... И Шарика усыпят.

А Тоня живет все там же, ей некуда больше податься.

По веснам цветут черемухи. Пожил бы в черемуховом раю... но грехи не пускают.